

Габаева Наталья Сергеевна
Корреспондент – Моргачева Т.В.
26.03.2004

– Да и так мне нечего рассказывать, на самом деле... Потому что это уже не очень интересно...

– Наталья Сергеевна, вы вот расскажите, вы когда родились, жили на 7-й линии?

– На 7-й Красноармейской. На 7-й Красноармейской мы жили, это была квартира Георгия Федоровича и Эммы Федоровны.

– Она целиком вам принадлежала?

– Она целиком нам принадлежала, и там было пять комнат, потому что семья была большая – дедушка с бабушкой, и у них трое детей.

– Георгий Федорович, да?

– Георгий Федорович и Эмма Федоровна, и, значит, Алис, Артур, Марсель и Леша.

– А все дети жили вместе с родителями, да? Пятикомнатная квартира – не слишком шикарно для такой семьи.

– Не слишком, да. Но потом, значит, Эммин именно отец – он был на гражданской войне...

– А Эммин отец – это кто?

– Жорж...

– Жорж?

– Да, Жорж. Когда он вернулся с войны, он привез жену молодую из Саратова, и ее маму...

– К тому моменту как вы родились, сколько там народу было? Бабушка, дедушка были – понятно...

– Бабушка, дедушка были... Алис умерла в год моего рождения...

– Она была одинокой?

– Нет, она была замужем за скрипачом Георгием Струве. Помните, я рассказывала, как он был арестован как человек с чуждым мировоззрением, а суть была в том, что он читал Евангелие, потому что его вторая жена на него донесла.

– Сначала, Алис умерла, а он еще потом тогда...

– Алис умерла и он потом вскоре женился, значит. И она у него нашла Евангелие. Он был скрипач, а Алис была студенткой.

– Она заканчивала консерваторию?

– Она уже закончила Консерваторию к тому моменту, как умерла. Не могу ничего узнать о его судьбе. Писала в Петербургское управление ФСБ, но ответили, что у них сведений нет.

– А отчество его тоже неизвестно?

– Нет, отчество его известно – Александрович.

– Мне кажется, что мы здесь его не видели, вот в этом большом древе родословном...

– Нет, он там есть. Вот, сейчас, вот он... А вот Алис... По моему, у нас в семье одиннадцать человек оказались репрессированными.

– Подождите одну минутку, давайте посчитаем, значит, дедушка Георгий Соломонович, потом дядя Виктор...

– Да. Потом вот этот Грамберг Павел... Он был пастором в Баку, лютеранским пастором.

– Грамберг – это три человека...

– Потом вот Отт двое, Алис Бенедиктовна и вторая Алис...

– И муж Алис Бенедиктовны, и Ваша мама.

– И муж Алис Коэнте Георгий Струве.

– Да и вот еще сверху [на генеалогическом древе] еще Витман Федор Иванович.

- А Федор Иванович и Федор Федорович – оба были репрессированы?
- Нет, только Федор Иванович... это бабушкин брат...
- Когда вы родились, вы как себя помните, вы жили с бабушкой и дедушкой?
- Да, с бабушкой и дедушкой. Бабушку я уже плохо помню, потому что она умерла, по-моему, когда мне было четыре-пять лет, и мы в это время жили в Ашхабаде, потому что папа как имеющий репрессированных родственников не имел возможности устроиться здесь на работу, он поехал в Ашхабад.
- Он сам туда поехал или его выслали?
- Нет, не выслали, просто он нашел там работу... И мы с мамой там не жили постоянно, а только приезжали туда на лето.
- То есть папа жил там постоянно, а вы наездами, да?
- Да. Два или три года так было. И когда однажды вернулись мы – бабушки уже не было. Так что я ее почти не помню.
- Значит, оставались...
- Оставался дедушка Георгий Соломонович, Филя, Лилечка тоже умерла, да, его жена, она тоже (довольно быстро умерла), так что потом оставались дедушка, Ина, моя двоюродная сестра, Жоржик, и папа. А потом перед войной уже была тоже очень трагическая история с отцом Инночки. Он вследствие контузии был очень больным человеком был человеком. Его пришлось отправить в психиатрическую лечебницу перед войной.
- Это Жорж?
- Жорж, да. У него временами бывали такие сильные приступы, в конце концов пришлось поместить его в лечебницу.
- А Ине сколько лет было, она старше?
- Она на пять лет старше меня. И мы вот жили... до войны – дедушка, мама с папой, и Ина. И в одной из комнат, когда было уплотнение, людей в квартире уже стало меньше, нас обязали поселить сюда кого-нибудь. Вот здесь поселилась одна женщина из библиотеки Академии наук, Валентина Андреевна Яблокова. Она прожила и блокаду, и после войны она была жива. Дедушка Коэнте, работал в Эрмитаже.
- Он после революции там работал?
- Нет, он после революции не сразу там работал, он сначала работал каким-то чиновником в банке каком-то до революции, потом, уже позже кассиром. А папа и дядя Виктор [Габаевы] в свое время учились в кадетском корпусе. У нас много военных в семье было. Потом они после революции, папа и дядя, учились в институтах гражданских. Папу с Виктором тоже проверяли в институтах, потому что раньше как бы в царской армии были.
- Не успели доучиться, да? Папа какого года рождения?
- Папа 1902 года.
- 902... то есть он кадетский корпус практически почти закончил?
- Да, он закончил. А потом были сложности с поступлением в вуз, в общем, какая-то была там разрядка, что дворян всего только какой-то небольшой процент принимали в вузы. Все же папа закончил сельскохозяйственный институт институт и некоторое время он работал с Вавиловым, и даже в аспирантуре был, а потом как-то это оборвалось, я уже не помню, почему. И он работал агрономом уже где-то под Ленинградом, на опытной станции, в совхозе «Красный пахарь».
- Получилось так, что вы практически вместе не жили? Вместе с отцом?
- Нет, только вот в Ашхабаде когда он работал.
- А потом, когда он в «Красном Пахаре» работал?
- Он жил с нами, дома.
- Он ездил на работу, да?
- Да. Под Ленинградом. А потом уже, перед войной, он работал в сельскохозяйственном институте, был там доцентом по кафедре. Тогда было два

института сельскохозяйственных – один в Пушкине, один в Петергофе. Папа был в Петергофе.

– А в Ленинграде самом не было института сельскохозяйственного?

– Нет, института не было тогда.

– Что-то такое сельскохозяйственное было – какой-то сначала он был частный институт, может, я что-то путаю. Перед революцией у меня просто прабабушка успела в сельскохозяйственном поучиться... и она сбежала от голода, но это был частный институт. Она хотела быть агрономом, была продвинутая по тем временам, хоть и крестьянская дочь. Но она сбежала, когда есть практически было нечего, был 17-й год, она сбежала к маме. Стебутовский институт был, Стебутовские курсы. А потом через полгода занятия возобновились. Но она уже больше не продолжала учебу, не вернулась...

– Да, до войны. А потом в Петергофе уже не было, остался только пушкинский, и я знаю, что некоторые сотрудники из Петергофа были переведены в пушкинский институт. Папин профессор, заведующий кафедрой, где папа работал, он уже работал в пушкинском, он выжил.

– Папа работал в Петергофе? Перед войной, преподавал, а потом, когда война началась, как получилось, что он остался?

– Когда война началась, он остался в Ленинграде...

– А почему он не был эвакуирован?

– Он работал еще как-то, да, пока еще Петергоф не был взят...

– Он туда ездил?

– Он туда ездил, да. Там было подопытное хозяйство... у меня сохранилось письмо одного его аспиранта, который меня нашел, потому что я участвовала однажды в телевизионной программе. А он в Воронеже, этот аспирант, он уже стал там профессором, и вот он увидев меня в этой передаче, что я в университете работала, он меня разыскал, в университет в отдел кадров написал письмо и мне это письмо пришло. Он переслал мне два папиных письма, которые он во время блокады написал, в частности вот такая горькая вещь, что у папы... он, этот аспирант работал по картофелю. И папа ему пишет, что сохранять ли вот эти вот опытные образцы, или их можно использовать? Вот он не решался сам уничтожить труды другого ученого.

– Спрашивал разрешения у того человека...

– Те письма, которые у меня были папины, у меня украли в войну. Он, видимо, чувствовал, что не выживет, не увидит меня и маму, он писал о том, какой он меня хотел бы видеть... В нравственном смысле. Я помню только общее. Я и тогда понимала, какое важное это письмо, но вот не смогла его уберечь. Украли... И папа умер в подвалах Эрмитажа, он там был вместе с дедушкой Коэнте, поскольку дедушка там работал, он и папу туда взял.

– Они просто там жили?

– Они жили там, да. Но они приходили сюда, то есть домой. Я не понимаю, как можно было в таком состоянии дистрофическом идти пешком от Эрмитажа туда и обратно в Роты, во всяком случае, они ходили домой и папа ходил еще к своей сестре Ольге, она жила на Кирочной. Я была в Эрмитаже на выставке, которая была посвящена блокаде. Там воссоздали обстановку того времени. Это все сопровождалось звуками воздушной тревоги, бомбы рвались. Они хотели воссоздать ту обстановку. И я ходила посмотреть, как папа жил.

– Но, в общем, о родственниках можно было подумать, потому что...

– Ну, нет, я, наоборот, рада, что я как бы блокаду испытала...

– Ну, это тяжело...

– Тяжело, да, но мне нужно было постараться почувствовать... Там был такой уголок с такими железными кроватями, топчан, стол с керосиновой лампой, какие-то книги... И вот в письмах одного из сотрудников Эрмитажа, который с дедушкой работал, было сказано, что по вечерам дедушка занимался с ним французским языком.

– А он работал переводчиком или...

– Да, он работал именно переводчиком... у него не было специального образования. И в этом письме было сказано, что этот человек был очень удивлен смертью деда. Тоже я знаю, что... по рассказам бабушки, что в конце декабря, незадолго до Нового года папа пришел туда к ним, а они на Кировской улице жили, он пришел и сказал, что мы с мамой не выживем. И вот бабушка умерла в конце января сорок второго года.

– Это какая бабушка? Александра Сергеевна?

– Александра Сергеевна, папина мать. Значит, он приходил на Кировскую навещать свою мать и сестру. Представляете – от Эрмитажа, или отсюда с Красноармейской и на Кировскую, туда идти. Уже совершенно точно зная, чувствуя, что погибнет... Как надо было чувствовать свою ответственность за родных, чтобы туда ходить, тратить последние силы.

– Только Ольга Георгиевна пережила блокаду?

– Да, она потом была эвакуирована и вернулась из эвакуации в середине войны. И мы как раз в середине...

– А мама где была?

– А мама приехала к нам в Сибирь в интернат спустя некоторое время. Она приехала... Эта станция называлась Емуртла, где был наш интернат. Там в июле или в августе 41-го я имела глупость написать такое письмо, я не знаю, оно ли сыграло роль или нет, я написала, что я не могу без мамы и папы жить, в интернате, что если кто-нибудь из них не придет, я пешком пойду в Ленинград. Вот написала такое письмо. И меня мучает совесть, потому что я думаю всегда, что если бы мама осталась в Ленинграде, что она как-то помогла бы выжить папе и бабушке, потому что все же она приехала туда к нам. А может быть, она бы не смогла вернуться потому что потом в Ленинград не возвращали тех, у кого никого не осталось там.

– Когда некому было сделать вызов?

– Да. Мы были в интернате детей художников. И вот там-то я познакомилась с будущей женой Роальда Федоровича, Элин. Мы все вместе дружили. Еще Лена.

– Елена Владимировна, да?

– Подождите, Елена Владимировна...

– Шувалова?

– А, ну да, да! Для меня – Лена. Мы жили в одной комнате – Таня Милорадович, Элин, Ина, Лена Шувалова и я.

– А вы все были детьми художников?

– Да. Были детьми или каким-то боком касались художников... У Элин, по-моему, не родители были художниками, а кто-то другой. Я Элин спрашивала, но я уже забыла, что она мне ответила.

– Да, там кто-то не из родителей... там отец инженер...

– Кто-то из родственников был, Элин говорила. Ну вот, а с Роальдом Федоровичем мы учились вместе в университете, на одном курсе. И Элин тоже тогда же училась там, так что мы снова были вместе.

– А когда вы эвакуировались?

– Мы уехали сразу, как началось, начало войны – 22-го объявили, а уже 5-го июля был организован интернат детей художников...

– Это так рано началось?

– Да. Сразу началось.

– И вы все время были в этой Емуртле?

– Нет. Мы... Элин-то была до конца, а мама там заболела. Там вообще родители детей этого интерната работали воспитателями. Людмила Ивановна Милорадович тоже – она тоже приехала потом. Вот. Мама заболела. У нее какая-то там была болезнь, что она не могла ступить на ноги, а директорша была очень у нас с железным характером, она говорила, что больные ей не нужны в штате, и положение было очень хилым, потому что

мама оставалась тогда безо всякого питания. И научный руководитель моего папы, он тогда работал в Ташкенте, он всегда поддерживал связь, он прислал вызов маме, как художнику, и она поехала в Ташкент, такая опытная сельскохозяйственная станция, где они с папой и познакомились когда-то.

– А как она там оказалась, в то время, когда они познакомились?

– А она работала художником по оформлению научных статей. Вот она оформляла как раз книгу этого профессора Панголо, который был папиным научным руководителем, так что она туда попала по его вызову для работы, а там познакомилась с папой, потому что папа тоже работал там. Ну вот, и этот Константин Иванович Панголо, я о нем...

– А как правильно его фамилия? – Панголо, да?

– Панголо, да. Он прислал маме вызов, хотя знал, что она больна, и мама приехала туда, и поселили ее тоже...

– А вы с Иной остались в интернате?

– А мы с Иной остались. И потом мама уже не могла вообще ходить, я... Она получала там карточку, конечно, продуктовую. Там своих художников ташкентских конечно хватало, но она работала. Для этого ведь ноги не нужны.

– Наверное, было безумно голодно, все равно...

– Да, очень голодно. Вот семья Константина Ивановича как-то маму поддерживала тоже... И в конце концов мама прислала мне вызов туда, в Сибирь, чтобы я приехала. Потому что она уже лежала, она не вставала. И вот на этом пути из Сибири в Ташкент у меня на вокзале украли рюкзак, где были папины письма. Какая-то женщина украла. Значит, я приехала к маме в Ташкент, там я...

– Вы одна?

– Я одна, Ина еще оставалась. Потом и Ина приехала, потому что сразу это было трудно сделать. И мы, значит, уже жили в Ташкенте в опытном хозяйстве в этом, мама там несколько раз ложилась в больницу, никто не мог определить, от чего эти боли в ногах. А потом ей вызов из Москвы прислала Алис.

– А вы с ней переписывались?

– Переписывались. Она прислала вызов моей маме, Ина осталась пока в Ташкенте, а мы приехали в Москву и там маму положили в больницу и врач, профессор, я не помню его уже, к сожалению, фамилии, он рискнул вскрыть ей этот нерв. Оказалось, что была опухоль внутри нерва, то есть это была с маленькую горошинку опухоль, она давала безумные боли, мама была инвалидом. Она ходила с палкой, как старуха. Маму прооперировали, она вернулась к нормальной жизни. Я жила в то время у двух Алис в Москве. Потом мама поехала в Ленинград, мы уже знали, что квартира наша занята – нам об этом написали...

– А мама поехала туда просто или по вызову? Там Ольга жила, Ольга Георгиевна?

– Нет, по-моему уже тогда можно было и без вызова ехать... это уже война кончилась...

– Нет, после войны еще некоторое время продолжалось...

– Ну, может, Людмила Ивановна прислала, не знаю, как там. Во всяком случае, мама поехала в Ленинград, и поскольку квартира была занята, она жила у Людмилы Ивановны Милорадович. И тут вот было очень тяжелое время, надо было судиться за нашу квартиру, потому что оставляли квартиры только тем, у кого были квартиры разбомблены. Как раз у нас жили люди, которые благополучно в это квартиру переехали, уж не знаю, почему, во всяком случае, у них не было свидетельства, что они пострадали от бомбежки. И суд присудил две комнаты вернуть нам. А другие две были заняты людьми, которые жили во флигеле нашего же дома, но этот флигель был разбомблен, так что... Да нам бы и не дали на троих четыре комнаты.

– И оставалась вот эта сотрудница, которую...

– Да, сотрудница – Валентина Андреевна Яблокова продолжала там жить. Значит, Ина, мама и я вот эти две комнаты получили и там жили... и там мама была арестована. И мы с Иной оставались одни, к этому времени я уже поступила в университет.

– А вы только что поступили?

– Это какая-то судьба, да, что я успела до маминого ареста поступить, иначе бы, наверное, мне и не пришлось бы учиться, потому что я в то время ждала, что меня...

– Потому что вас и выгнать могли...

– Да, я этого ждала, это очень напряженный был год.

– А скажите, пожалуйста... давайте вернемся к довоенным временам. Мне хочется понять, как вы жили, какие отношения были в вашей семье? Достаточно близкие или более строгие?

– Ну отношения были самые родственные, нет, это была... нет-нет-нет, это были самые родственные, добрые отношения и вот в этой записке, которая касается Георгия Федоровича, моего дедушки – вот там вы поймете немножко эту атмосферу, жизни нашей семьи, вот там... Отношения были между всеми самыми лучшими.

– Партийных у вас не было?

– Ну что вы, нет конечно. Дедушка работал в Эрмитаже, папа ездил в Петергоф, иногда брал меня с собой туда, хотя приходилось очень рано вставать. Вот. Летом мы жили на даче в Петергофе, поскольку сотрудникам института давали дачи, давали такую возможность.

– А вы все вместе жили на даче, или с мамой только?

– С мамой и с папой жили, на дачу дедушка не выезжал. Ну а еще в более ранние годы, когда бабушка была жива еще, я этого не помню, мы снимали дачу где-то под Ленинградом, и переезжали туда на лето. Не так, как сейчас, налегке ехали, а везли туда матрасы, и мебель и множество вещей. От станции брали лошадь с телегой, все это имущество грузили, вот, и все лето, я уж не помню, по очереди, по-моему – дедушка, мама когда-то, папа жили со мной на даче.

– А мама до войны работала художником?

– Мама работала, где... да, где ей удавалось. Была такая организация, горком художников, и в этот горком давали заказы разные учреждения, понимаете, да, то есть работы проходили через этот горком художников. Ну вот так она получала...

– Книги иллюстрировала?

– Да, и книги. И потом после войны мама очень много делала учебных таблиц для института Герцена, я помню, тоже через горком это было... ну, в общем-то, система была такая, что художник сам искал заказ, потом он должен был дать заявку от этого учреждения в горком, и получал эту работу... и снимали какой-то немаленький процент.

– Это уже после войны?

– Да, но мама работала всегда дома, я помню...

– Но она не была членом союза художников?

– Нет, не была.

– Тем не менее, ей все-таки ей удалось детей в этот интернат поместить?

– Да, да. И Людмила Ивановна [Милорадович] тогда еще не была членом Союза художников. Мама вступила там, в Ташкенте, в Союз художников, и они нам, в общем очень помогали, давали заработок.

– Наталья Сергеевна, а какое-нибудь религиозное воспитание вы получали?

– Да, но самое такое домашнее, можно сказать.

– Но в семье были верующие люди? Православные были или лютеране? Католические больше, да?

– Да, в основном, католики. Ну вот также как Алис и Алис маленькая, Отты, когда я жила у них в Москве, они меня как-то очень, можно так сказать – воцерковили. Я с ними стала ходить в церковь постоянно, они мне многое говорили, просвещали...

– А до войны дома этого не было?

– А дома у нас как-то этого не было, то есть, я знаю, что дедушка бывал в церкви, и мама бывала в церкви. Они ходили в эту церковь в Ковенском, знаете?

– Да. То есть вы не помните, чтобы вы ходили в детстве в церковь?

– Нет, ну как-то мама, да, мама меня научила молиться, говорила о боге. Помню единственное: дедушка никогда не сердился, поэтому я очень запомнила, когда однажды я нагрубила маме, с Иной поссорилась, он меня позвал в свою комнату и сказал, что стыдно так себя вести, потому что Бог все видит и все слышит. Это я запомнила на всю жизнь.

– Все были спокойно верующие, без экзальтации, но вот

– Да, спокойно так, без всякой, да.

– А как это совмещалось со школой? Со школой, со школьным атеизмом?

– Ну, видите ли, я ведь кончила только три класса до войны, и как-то особенного такого воинственного материализма или атеизма в школе не ощущала, хотя я как-то понимала, что нельзя говорить, что Бог есть... Я не помню, чтобы меня этому учили, но это как-то само собой было. А между прочим, я вот интересные документы могу показать, дедушкино..., то есть свидетельство о смерти прадеда, свидетельство о рождении мамы вот, свидетельство о рождении и крещении Марсель Мария Коэнте.

– А как маму называли в семье? Ее называли Марсель?

– Нет, ее звали Мусей. Ну, Куанте – это читается по-французски, но они писались Коэнте, вообще-то, это я знаю. Ну можно читать, по-русски произносить или Куанте или Коинте, а писалось Коэнте, а по-французски оно звучит это –ои- как –оа-...

– Вот здесь написано: Дочь, родившаяся 22 февраля... а это что такое? Мария Ла Пьер? А кто это такая?

– Я не знаю... Нет. А, это, наверное, сестра тети Алис, да, конечно.

– А, Ляпьер...

– Ляпьер, да. Сестра тети Алис... А это вот о рождении моего отца, Жоржа, свидетельство католической консистории ...

– Мама 1898 года... подождите. У них что, такая разница в возрасте была, да?

– Мама 98 года была, а папа 902-го.

– А это той самой госпожи Коэнте?

– Да. Которая, значит, привезла во Францию своего сына Фридерика и жила с ним.

– То есть вот это вот его мама?

– Его мама, да. Слушайте, но это очень старая фотография, вы видите, какая... Я не знаю, какого может быть года, видите, тут выцветшее совершенно, написано – мадам, м – мадам, Коинте. Я была потрясена, когда ее нашла...

– А где вы ее нашли?

– У меня такая есть большая коробочка со старыми фотографиями...

– А, то есть просто – вы ее опознали? Что это она...

– Да, да-да-да. Я посмотрела на обороте...

– Эту фотографию надо срочно сканировать...

– Но как – она такая плохая, как ее...

– Надо срочно сканировать и пытаться ее улучшить, это возможно, конечно, это возможно. Но это должен настоящий художник делать.

– Видите, какая – какая одежда тут...

– Ну конечно, с одеждой-то как раз все в порядке, с головой хуже, там где возле лица, там верхняя часть вроде бы ничего...

– Да...

– Это может быть удастся сделать, а с нижней там не знаю, что получится, но уж в любом случае надо попытаться ее зафиксировать, потому что с каждым годом она все бледнее и бледнее становится.

– Потом, хотите я вам покажу еще фотографию вот там у меня в комнате, я кое-что нашла, фотографии или вам уже...

– Хочу, хочу.

[Перерыв в записи]

– А кто был у вас главным в семье? Главным авторитетом? Абсолютным моральным авторитетом?

– Думаю, что раньше дедушка был, а потом уже постепенно мама...

– То есть пока вы жили перед войной все вместе, все-таки глава был дедушка, да?

– Ну да, я считаю, что дедушка, да. То есть мне трудно сказать, просто он был старше, мы к нему все относились так, вы понимаете...

– А сестра была старше вас на пять лет, и вы с ней вместе практически росли?

– Да. Да-да-да. Вместе росли.

– Вы ссорились?

– Ссорились.

– А по каким поводам, с чем это было связано?

– Ну, детские такие ссоры, я не знаю...

– Но не дрались?

– Мы запросто друг друга таскали за косы...

[Перерыв в записи]

– Наталья Сергеевна, а как так получилось, что архив Георгия Соломоновича, такие достаточно личные документы оказались в Публичке – они хранились где? Они у него хранились?

– Они еще раньше, видимо, когда вот дедушка еще в архивах работал... нет, я не могу вам сказать, как они туда попали. Единственное, что я знаю, что было два архива дедушки – один в нашей Публичной библиотеке, а другой в военно-историческом музее в Москве. И потом их соединили в один. Теперь он вот здесь, в Публичной библиотеке.

– То есть, он и сам, может, передал в Публичку?

– Возможно, да.

– А почему их не оставили в семье?

– Ну потому что такие были времена, что все это могло в любой момент... Наверное, было решено, что это будет целее и безопаснее. Не так давно была какая-то конференция, и там был такой доклад: «Еще раз о знаменах полков – участниках восстания декабристов. Новые документы Г.С. Габаева». А это было в 90-м году. Потом какие-то его материалы есть в музее во дворце Ксешинской.

– А что это могут быть за материалы? Это то, что вы им передавали?

– Ну я сейчас уже не помню... Нет, нет, это там хранилось, у дедушки еще... Дедушкины... Ну ладно, я в крайнем случае вам это перепечатаю...

– Так могу потом взять и переснять, зачем же вам перепечатывать?

– Да, это было бы хорошо...

– Вы пишете в своих записках, что вы мало про дедушку знали, про дедушку Габаева...

– Да. Я знала, что дедушка где-то живет, вне Ленинграда, папа ему постоянно посылал то деньги, то бандероли какие-то, мы с ним вместе ходили на почту, по воскресеньям обычно бывало. И папа меня просил, когда он дедушке писал, иногда он мне говорил – напиши дедушке письмо. И я вот писала эти письма своим детским почерком, это дедушка потом мне их вернул, дедушка Габаев, он их хранил, оказывается, всю жизнь. Так что папа очень о нем заботился и все делал для него.

– А у них в семье тоже были достаточно очень дружеские отношения?

– Видите ли, папа всегда говорил, я это знаю от мамы, что он говорил, что не дело детей судить родителей. И он вот такого принципа и придерживался. То есть он очень любил маму свою, и к ней хорошо относился и к отцу тоже. Они ведь развелись, дедушка и бабушка.

– А когда это случилось?

– Не знаю, когда... до революции еще... Потом была там какая-то еще дама, на которой дедушка был женат, но когда его сослали, она не выдержала, то есть сначала она

поехала к нему, но там не смогла жить. А до этого он был знаком с Софьей Григорьевной. Дедушка в 20-е годы участвовал в кружке философском, религиозном, или даже масонском. По этому кружку, она и дедушка, они были очень дружны и она к нему приехала в ссылку, так и не расставались до конца жизни, до смерти дедушки.

– А как фамилия Софьи Григорьевны?

– Розен. Она была воспитанницей Смольного института сначала. И потом, видимо, она была сирота, она осталась там в качестве воспитательницы, в Смольном институте. Она мне подарила дедушкины стихи, она сказала, что едва ли Лиле будет приятно найти это в дедушкиных бумагах, то есть Ольге...

– А, Ольгу так звали...

– И вот она так поступила, передала мне стихи, которые... я только не помню – она дедушке писала, или дедушка ей писал...

– То есть это 24-й год, да?

– Да. Потом мне завещано было дедушкино Евангелие, которое было в семье... Софья Григорьевна передала мне это за год до смерти со словами, что Лиле было бы неприятно найти стихи, посвященные моему дедушке среди его бумаг. Да, а потом очень большое количество работ, связанных с изучением бунта декабристов и все бумаги тоже в этом архиве нашла, потом дедушка же очень много занимался костюмом военным, вот эти исследования тоже там. У меня есть целая папка с остатками дедушкиного архива.

– То есть, что-то еще осталось в семье, да?

– Да.

– Наталья Сергеевна, что-нибудь о политике вообще говорилось в доме или нет? Или просто это вообще обходилось молчанием?

– Нет, не говорилось. Я могу только вам сказать, что, конечно, папа очень пострадал из-за дедушки, потому что его... когда он с трудом устроился, наконец, куда-то на работу, он был там то ли замдиректора или что-то, какой-то опытной станции и его потом оттуда хотели сократить, сказав, что он скрыл, что дедушка репрессирован – это было не так, он никогда ничего не скрывал. Вот целая пачка вот этой переписки вот с этих документов, что кто-то на него донес, это он пишет, что это не так, потом там рассматривают дело, в общем, это такая история была...

– То есть спокойной жизни не было? Никогда?

– Нет, не было никогда.

– Но, в общем, это не озвучивалось, не произносилось?

– Я не знаю, что там говорилось... смутно я помню, что вот семья наших близких друзей выехала куда-то в ссылку, они оставляли у нас часть вещей. И детское очень смутное воспоминание об это было – видимо, какие-то разговоры должны были быть, раз среди близких вот такое происходило. Юру вот арестовали же тоже – это же до войны было, когда на него донесли [Г.А Струве]. Так что я... слышала что-то такое, что что-то происходит, но, знаете, по-детски никогда не прислушивалась.

– А в школе вымарывание портретов в учебниках?

– О, это прекрасно помню, да – в учебнике истории Блюхера надо было зачертить вот так вот, и еще кого-то, я это очень помню, учебник истории – вот почему-то Блюхера запомнила, и еще кого-то надо было зачертить из партийных. Ну а как-то я не понимала, это почему – ну надо было зачертить, а что там они плохого сделали... вот такое было детское воспоминание...

– А в пионеры вы вообще не вступали, да?

– Нет, я была пионеркой, очень гордилась, что меня приняли в пионеры. Как-то тогда не было...

– Это перед войной было?

– Перед войной, да, перед войной. Тогда все-таки такого не было, вы знаете, идеологического нажима... мне кажется, не было как-то особо, как после войны уже, когда и по радио, и всюду, понимаете, вбивали, вбивали – что хорошо, а что плохо. Тогда

как-то поспокойнее было. А может быть, в нашей семье так было... в общем, тогда я как-то этого пресса идеологического не чувствовала.

– То есть, это вообще мимо вас прошло – вся эта история с Павликом Морозовым, там, скажем?

– Нет, меня это обошло как-то... У нас в семье об этом никогда не говорилось... Да, и в школе...

– Не говорилось?

– Да, и в школе это как-то вот этого тоже не было... у нас вот была одна учительница, с первого по третий класс, такая спокойная женщина.

– А потом, когда вы жили в интернате? Вас как-то спасало то, что вы в семье были, наверное, не знаю. Тяжело было, наверное, страшно, одиноко первый раз без родителей оказаться...

– Нет, ну вы помните, я написала это письмо, паническое совершенно, что приду пешком в Ленинград, если ко мне никто не приедет...

– А вы написали маме в блокаду, да?

– Да, уже была блокада... нет, не в блокаду еще. Еще до этого написала, потому что мы не сразу в Омск и в Емуртлу попали, мы сперва жили в Ярославской области, а потом уже, когда фронт приблизился, нас еще дальше отправили, в Сибирь. Так что я думаю, что месяца два прошло, то есть мы уехали в июле, ну, что-нибудь, в августе, в сентябре...

– Может быть, и к лучшему, что мама приехала к вам? Она выжила. А чем бы могла помочь в Ленинграде?

– Ну, возможно, но я думала, что просто она как хозяйка, может быть, она могла бы как-то больше организовать быт, может быть, она могла бы как-то, понимаете, более умело, вести хозяйство. Там, между прочим, очень тоже трогательная страшная история, что когда уже был голод, наши знакомые – они жили напротив нас, у них был ребенок, с этой девочкой я училась в одном классе, и вот ее мать пришла к бабушке и умоляла его, чтобы он накормил их, покормил их на свои средства. А у них детей было трое, что дети умирают от голода. Что ей всюду отказывали, что она обошла всех знакомых, всюду отказывали, и она об этом пишет, что ни в одной семье не откликнулись...

– Но она выжила?

– Она выжила, да, и она написала о своих блокадных воспоминаниях, о жизни в блокаду. Потом она вышла замуж. Ее мать была близкой гимназической подругой Людмилы Ивановны Милорадович...

– А когда после войны... вы вернулись практически через Москву, да?

– Да, да-да-да.

– То есть мама сначала вылечилась, а потом...

– Да, а потом приехала сюда, а потом выписала меня из Москвы, а потом из Ташкента – Ину. Ина в Москве не была, прямо из Ташкента Ина вернулась в Ленинград.

– А она там одна оставалась?

– Одна оставалась. Ей было уже семнадцать лет, так что она там работала уже. Теперь она художник по металлу. Но она работала всю жизнь как оформитель.

– Ну а дочка у вас что закончила? Мухинское?

– Да.

– У вас в семье все художники?

– Все художники, да. Только я вот... и папа тоже, мы биологи.

– А почему кстати? Вы рисовали в детстве?

– Я рисовала, я даже поступала в художественную школу при Академии художеств, но не прошла.

– А, то есть, вы даже не прошли по конкурсу?

– Да, не прошла по конкурсу.

– То есть после школы вы...

– После школы, да. А вот Таня, сестра моего мужа, она поступила. Она архитектор, мой муж архитектор был, мама художник, свекровь художник... Ну и вот дочка...

– А когда вы вернулись, вы со своими подругами встретились сразу?

– Ну видите, мы приехали к Милорадович, я вам говорила, что наша квартира была занята, так что... меня даже Таня встречала на вокзале... Прямо к ним приехали, да и жили у них пока за квартиру судились.

– Вы пошли в ту же школу?

– Я там пошла... в школу за Театральной площадью, прямо за театром, школа такая была, и Таня там училась, и я. У нас уже были женские и мужские школы... И там уже многие появились подруги очень любимые мною до сих пор. Много читали, ходили на лекции...

– А вы тогда чем увлекались?

– По биологии ходили.

– А вам биология была близка?

– Да, мне было очень интересно... и уже после университета я была там оставлена.

– В университете сразу?

– Да, я биофак кончила в университете и я там была сперва лаборантом, потом ассистентом, потом доцентом, в общем, всю свою жизнь преподавала, хотя мне всегда было ужасно страшно, для меня это было каждый раз стресс – выходить на кафедру...

– Но вы сейчас уже не преподаете?

– Нет, я уже не преподаю давно, на пенсию ушла.

– А домашние праздники – какие они были?

– До войны?

– До войны, да. Какие дома отмечались праздники?

– Были дни рождений, и были елки.

– А елки были в Новый год или в Рождество?

– Елки были не знаю когда. Но они были. Наверное, в Новый год.

– И тогда их как раз разрешили уже?

– Да... А Новый год был для взрослых. Мы с Иной были закрыты, у нас комнаты были анфиладой, вот наша комната, вот здесь столовая – они были для гостей. А в Инину комнату я шла, значит, ночевала у нее. Мы подслушивали, и подсматривали... для нас что-то такое необычное это было. У взрослых в комнате накрывался стол. И приходили к нам вот эти же друзья – Милорадовичи, то есть это был все тот же круг.

– А какие-нибудь вы помните советские праздники? Они просто вообще не остались в памяти, никак? Первое мая...

– Нет, ничего не осталось в памяти такого.

– А вы ходили в школу сколько раз в неделю? Когда шестидневка была...

– Я думаю, что пять. Я даже не понимаю, как это получалось – месяца-то сохранялись, значит, в месяце было меньше недель, значит, неделя была шестидневная, значит, меньше недель... Нет, больше недель, наверное, да. Но праздников я этих не помню, не помню, только вот Новый год, день рождения... вот приглашались дети и мамыны друзья.

– А детские праздники праздновали?

– Вот дни рождения, да...

– А как они отмечались?

– Да, вот праздновать приходили, естественно...

– Дети приходили?

– Дети маминых друзей, да.

– Это все-таки был не общий такой семейный стол, а был все-таки какой-то детский...

– Да, да. Нет, тогда были и взрослые, а для нас ставился отдельно.

– А дети приходившие по возрасту близкими были?

– Да, более-менее. Более-менее. Приходили... вот под нами жила семья вот Жанны Федоровны, и там, значит, была дочка Андрея Ивановича, моя троюродная сестра – она всегда приходила, ее братья приходили, так что это были дети родственников и дети друзей.

– А елка, елку...

– Елку украшали... Елка была большая, конечно, для меня маленькой казалась большой. Были игрушки старинные, мамины еще...

– А вы делали игрушки?

– Делали какие-то игрушки, делали, по-моему.

– Из ваты или из бумаги, что-то такое, да?

– Нет, только из бумаги что-то было, я помню, зонтики какие-то, какие-то коробочки...

– Подарочки были самодельные?

– Да, самодельные... Тогда считалось, что это нужно.

– А когда дни рождения отмечались, у мамы когда день рождения был?

– У мамы 31 января... нет, 22 февраля день рождения. 31 января у нее именины.

[Перерыв в записи]

– Папе предлагали уехать из Ленинграда, было одно место в самолете, последнее.

– Это уже после отъезда мамы?

– Да. И он сказал, что он может выехать, только если возьмут его мать и сестру. Так что они остались все. Место было одно. Вот видите, как?

– А папа дома работал тоже, да?

– Да. По вечерам всегда он в столовой на столе стелил себе газету, раскладывал там свои бумаги и работал.

– То есть родители не очень много отдыхали, гуляли?

– Да. Больше я его видела летом, потому что все же вместе жили на даче, где жизнь более вольная и демократичная.

– Это были какие-то специальные дачные участки?

– Нет, в Петергофе это было все на территории дворца, одного из дворцов там. При нем были служебные здания небольшие, вот в этих зданиях нам разрешили жить. Это и была наша дача. Там у меня друзья были. Я уже через много лет ездила в Петергоф, нашла это место. Очень все изменилось, все кажется таким маленьким.

[Перерыв в записи]

– Он даже присылал деньги? Из блокады?

– Да. И были письма. На каждом стояло «Просмотрено военной цензурой»

– То есть вот эти вот письма, которые как раз пропали?

– Да. Ну, там, вот когда я уже это потом вспоминала, такая была маскировка, чтобы сообщить все же побольше.

– Но это было написано не тем языком, которым вы разговаривали?

– Да, конечно. Специально для цензуры писали.

– А вы могли письма ему писать, он получал от вас какие-то известия?

– Да. Мы с мамой писали.

– А как вы узнали...

– Дедушка, папа писал из блокады ему [Г.С. Габаеву], в Калязин, где он тогда жил.

– Никакие родственные связи не рвались, это все было, все поддерживалось?

– Я не знаю, писал ли нам дедушка, я потом не помню, чтобы от него письма приходили. А между папой и дедушкой, да, поддерживалась переписка. Как-то он, дедушка, узнал о смерти папиной

– А известно стало о смерти папы от дедушки Коэнте?

– Да.

– А о дедушкиной?

– А о дедушке написала его сестра, Эмма Федоровна, которая жила в Ленинграде тоже. Они продолжали поддерживать связь. Так что поддерживалась вот такая как-то семейственная связь – она была очень прочной, понимаете, дедушки и его сестры, с Оттами мы тоже поддерживали переписку. Поэтому мне кажется, что сейчас таких отношений нет.

– А как переписка поддерживалась?

– С Москвой письмами, потом иногда приезжала маленькая Алис к нам. Она работала там же, тоже при французском посольстве... Дядя Альбер был арестован в 37-ом, и о нем ничего не было известно, а их взяли уже после войны, когда у нас испортились отношения с Францией.

– А, то есть они арестованы после войны?

– Да, да, после войны, ну как же, я же жила у них сразу после войны. А потом, когда мы уехали в Ленинград, это все с ними и случилось. Примерно тогда же, когда маму арестовали. Уже потом, когда их отпустили, я приезжала к ним. А маму взяли вскоре после того, как взяли их. Потому что маму взяли как свидетеля. Ее же обвиняли в том, что она потворствовала шпионажу. Она была как свидетель, и поэтому у нее там такой маленький срок и был.

– В общем, вряд ли им нужны были особенные поводы...

– Да. Но вот же видите, тете Алисе дали двадцать пять, маленькой Алис – пятнадцать, а маме восемь. А потом уже, когда их отпустили... Ну да... я уже кончила университет, я бывала в командировках в Московском университете, они уже были в Москве. И к ним приходила. Они уехали во Францию после того, как у нас в столице побывал генерал Де Голль, и он как-то повлиял на то, что их наконец отпустили. Они не были гражданами Франции. После революции их всех... так сказать, все граждане должны были стать гражданами России. И мой дедушка, Георгий Федорович...

– Он принял гражданство?

– Нет, он был гражданином Франции, а по каким-то причинам, потому что он служил во Франции, он военную службу проходил во Франции. Он был гражданином Франции. И Фредерик, отец его, мой прадед, он тоже военную службу проходил во Франции. Я думаю, что его дети тоже были французскими подданными. А после революции они все стали российскими.

– После революции он не пытались уехать?

– Нет. Вот знаете, кто уехал? Уехала дедушкина сестра, Мария Федоровна. Ей писала не тетя Алис, а Лилечка и мама. А потом нам запретили переписываться.

– Как это получилось?

– Моя сестра, Регина, она работала в каком-то учреждении засекреченном, почтовом ящике, она там в секретном отделе на учете стояла. И им стало известно, что она с тетей переписывается. Ее вызвали в соответствующий отдел, сказали – вот ваша тетушка переписывается с иностранными гражданами, и если вы хотите продолжать у нас работать, скажите ей, чтобы прекратила.

– То есть вот так – они подействовали через нее, да?

– Да. И соответственно мама перестала писать, конечно. Потом...

– Она смогла сообщить тете, почему перестает писать?

– Нет, просто переписка прервалась. Я думаю, что они просто поняли, что... А потом я их нашла там благодаря тому, что у нас на кафедре стажировался француз один. И мы его даже пригласили к себе, он с мамой разговаривал по-французски, ей так приятно было поговорить по-французски. Вот. И я ему рассказала, значит, о тете Алис и Лилечке. И его попросила их найти, а потом мне написать, как-то зашифровано. И он мне писал о них, о том, как они живут. А он называл их как-то – мои экспериментальные животные. Благополучно вот тогда вот...

– Это какие годы были? Семидесятые какие-нибудь, или шестидесятые?

– Ну, это были шестидесятые... А потом он уже мне писал. Приезжал к нам уже после того, еще раз, и больше того – он мне переслал письма тети Алис, которые она писала своему священнику, духовнику, который был сперва в России, а потом уехал во Францию. И когда он умер, как я поняла, сестра этого священника, она переслала им эти письма назад. Лилечка (маленькая Алис), она передала все эти письма ему. И он меня спросил, не хочу ли я их получить. Вот мне удалось организовать так, чтобы они приехали ко мне. Это может быть довольно ценным источником по истории католичества в России. Но эти письма, они довольно личные такие... Я там одно-два попыталась прочесть, но мой французский оказался для этого недостаточен. Я могу читать только о совсем уж бытовых вещах, как выяснилось. Они ведь в Москве жили в некотором смысле в изоляции. После ареста дяди Альбера они работали в посольстве и общались только с французами.

– Они начали работать в посольстве только после ареста дяди?

– Нет-нет, они очень задолго до этого там работали. Но после его ареста они общались уже только по посольству. Только по посольству. Они жили, как ни странно, в коммунальной квартире, и я там писала, в этих записках, так что известно было, что их швейцар был доносчик. Потому что я еще в в чьих-то воспоминаниях встретила, что (он знал этот дом, это был известный дом комфортабельный и известный швейцар. И тетя Алис тоже знала, что он из таких... стукачей.

– Так она жила просто в обычной коммуналке?

– В обычной коммуналке, но в очень хорошем доме, с колоннами. Там у них было три комнаты, соседи им не мешали. Ну так, как тогда принято было, была у них и домработница...

– Она жила у них?

– Да.

– А когда вы жили в коммунальной квартире, это было уже когда после войны?

– У нас соседом был партиец такой, еще дореволюционный. Но он как-то очень хорошо и к маме, и к нам относился, потому что он маму девочкой еще знал, когда он был мальчишкой. Из нашего двора ведь он был.

– Но у вас же была не коммунальная квартира?

– У нас нет, но после войны-то она стала коммунальной. И вот его переселили из разбомбленного флигеля в нашу квартиру. Кроме нас после войны в нашей квартире жила вот эта Яблокова, я говорила про нее, и он с женой. Ну он никогда ничего такого не говорил по поводу маминого ареста, слова не произнес.

– А маму же оттуда арестовали?

– Маму арестовали – да, он был, он был там среди понятых во время обыска и ее ареста. Он был и дворничиха. А кто же еще мог быть понятым? Конечно, соседи и дворники.

– А долго обыск происходил?

– Я не знаю, когда он начался, но когда я пришла, к вечеру, наверное долго, я не знаю, да, довольно долго. Часов 6, наверное, до этого, до моего прихода, и при мне часа полтора.

– То есть они перебирали там что – книги, документы?

– Ой, все – и книги, почему у мамы на японском языке какая-то книга была. Что это такое, почему японская? Из ящиков все было вывернуто, из бельевых и из письменного стола, все мои дневники были взяты, те, которые я с детства писала.

– И вам их не вернули?

– Ну когда я узнавала, вот уже теперь, когда запрашивала в их архиве о маминой судьбе, я узнавала, куда они делись. Мне ответили, что все они были уничтожены, как не имеющие значения для дела, для маминого дела.

– А насколько опасные вещи могли быть в ваших дневниках?

– Нет, я закрывала свою настоящую жизнь. Настолько, такой был инстинкт вбит, что я помню, что я в дневнике писала, что если начнется война, я обязательно пойду в нашу армию, воевать за родину.

– Но вы этого не чувствовали при этом?

– Я этого не думала, конечно. Но насколько это уже глубоко сидело...

– А Ина в это время, она...

– Она училась в Университете.

– Уже заканчивала, наверное, да? Если она на пять лет вас старше?

– Нет, нет, она поступила поздно. Мы ведь жили в Средней Азии во время войны. Так что она кончила школу еще в Ташкенте, работала, училась, и только после возвращения поступила в Университет.

[Перерыв в записи]

– Вот вы говорили, что о политике в семье почти не говорили...

– Ну при детях нет.

– Понятно, то есть вы этих... ничего. А вот там о Сталине? Он как-нибудь фигурировал?

– Дело в том, что у нас в столовой висел портрет Сталина. Папа его повесил. Я думаю, что это была мера безопасности, что ли. Конечно, папа мог ждать все время, что его арестуют, как отца, как брата.

– А когда Виктор Георгиевич в Архангельске заболел туберкулезом, кто-нибудь ездил туда?

– Да, мама его ездила, бабушка моя, Александра Сергеевна. То есть он умер у бабушки на руках даже, вот так. Он же уже был освобожден. Его уже освободили. Он был... То ли они за ним ехали, я уже сейчас хорошо не помню, в общем, он долго по моему в больнице там был.

– То есть она его только похоронила там?

– Да. Да, я смотрела его дело. И там какие-то стихи хранятся, которые ему инкриминировали – я ничего там такого не нашла особенного. Еще что-то, какой-то анекдот он кому-то рассказал.

– А он институт не успел закончить?

– Да нет, нет-нет. Был на одном из первых курсов. Его долго очень не принимали. Он учился в Технологическом институте. Он был очень, очень талантливый. У него был инженерный талант. Может быть, просто его происхождение тоже ему вредило, было нежелательно, чтобы такие были студенты... Папу же не принимали тоже долго никуда.

– А мама работала все время, или не все время?

– Мама все время работала. Мама и папа работали, да. Дедушка работал.

– Она ходила на работу или она брала на дом работу?

– Она на дом брала, да.

– А, то есть она все равно хозяйство в доме она вела?

– У нас домработница была. Она жила у нас.

– А кто это была?

– Это была деревенская женщина просто.

– Одна и та же была или разные?

– Нет, я как раз недавно Ину расспрашивала, кто был раньше, она мне говорила, что нет, не постоянные были, а вот я помню такая Маруся была, она с мужем и с дочкой. Мы даже к ним ездили в деревню после войны.

– А что в ее обязанности-то входило?

– Готовить, убирать... То есть с детьми она не занималась. Нет, деревенская девушка, совершенно простая.

– А с детьми занималась мама?

– Ну да, мы же были уже взрослые дети. Нами не надо было особенно заниматься.

– А спала она где?

- Она спала на кухне.
- А кухня была достаточно большая для того, чтобы в ней можно было жить?
- Очень большая кухня была.
- А ели вы на кухне или..?
- Нет, мы ели в столовой. Туда всегда она подавала, она убирала потом посуду.
- Вы вместе с родителями жили?
- Папа, мама и я...
- Вы жили в одной комнате?
- В одной комнате жили, а папа по вечерам работал со своими записями в столовой за большим обеденным столом. Этим самым столом, за которым мы сейчас с вами сидим. Он раздвигался вот так вот, очень большой, панели вставные были. Вот этот стол и десять-двенадцать стульев вокруг стояли. Сейчас этих стульев, видите, только шесть осталось. Мы продали часть после войны. Пришлось продать. Потом была поменьше комната для Ины, потом была дедушкина с бабушкой.
- Жорж уже не жил там?
- Да, тогда не жил. А когда Жорж был жив, Жорж с женой и Региной жили в той комнате, где мы с папой и мамой. Это была их комната. А мы жили в той комнате, где потом жила Валентина Андреевна наша.
- А еда всегда была в столовой? То есть и завтрак, и обед, и ужин.
- Да. Тогда никогда этого не было нигде, чтобы есть на кухне. Тогда были столовые комнаты. Это теперь их нет. Тогда были столовые комнаты в каждой квартире.
- А что там стояло – там только стол был или она исполняла еще роль гостиной?
- Буфет большой был, рояль стоял там... ну да, там стоял рояль, стоял приемник – незадолго до войны папа купил... Большой был буфет, он сейчас у Ины, так же книжный шкаф там стоял, он прямо для этой комнаты по заказу был сделан. Вот, потом там стоял такой кругленький столик, на котором хлеб резали и секретер большой. Два окна, между ними вот эти часы висели, а под ними стоял секретер. Цветы на окнах висели, дедушка их выращивал, ухаживал за ними, это были его цветы.
- Во всех комнатах цветы были или...?
- Во всех. И за всеми ухаживал дедушка. Он очень любил цветы.
- А чей это был рояль, кто на нем играл?
- А рояль – на нем играла Алис, и еще дедушка. И тот, и другой играли. Алис, это та тетя, которая в консерватории училась. Она рано умерла. Меня и Инну тоже учили музыке.
- Вам учителя приглашали или вы ходили учиться?
- Нет, к нам домой приходили, учительница. А после войны, когда вот мы немножко оперились, мама мне сказала – ты хочешь заниматься? И я занималась музыкой. Конечно, тогда я уже ходила к учительнице.
- Долго у вас жил рояль?
- Да, после войны остался, его продали только когда мы уже разменялись. Был капитальный ремонт в нашем доме, и нам нужно было выезжать в маневренный фонд, тогда его пришлось продать, потому что не помещался.
- После капремонта вы уже не вернулись в свою квартиру?
- Нет, мы вернулись. Мы вернулись. Как ее изуродовали! Боже мой, были такие филенчатые двери, их не осталось, ни одной ручки, потолки с лепниной были – все это было содрано, ручки заменены на такие, на эти советские пластмассовые. Ужасно больно было видеть, что они сделали с этой квартирой в результате капитального ремонта. Но зато от кухни большой кусок был отхвачен и были сделаны две дополнительные комнаты. Там еще долго Яблокова жила.
- Она продолжала там жить?
- Да, она жила там, мы как-то приходили в гости к ней.
- А когда вы переехали сюда, кто в той квартире остался?

– А там осталась Ина с семьей. В общем, получилось так, что одна комната были Инина, и после того, как мама вернулась из лагеря... Пока мама была там, Ина жила в одной комнате, в другой жила я. Когда мама вернулась, мы с мамой жили, а Ина уже была замужем и она жила в этой второй комнате, да. А я тоже была замужем, но потом мы разошлись, и я вышла замуж второй раз. И потом сменяли вот эту нашу с мамой комнату и комнату моего мужа. У Людмилы Ивановны были две комнаты, она одну отдала Алеше, вот ее и нашу с мамой комнату мы сменяли.

– Алеша, это ваш второй муж?

– Да, это второй муж. Милорадович. Он сын наших близких друзей. Мы всегда друг друга знали, и мамы наши очень дружили. А с тем мужем, с первым, я года четыре всего прожила, в те годы, когда я была студенткой. Когда мама вернулась, я оказалась как бы между двух огней, между мужем и мамой.

– Они не ладили? А почему?

– Не знаю.

– Насколько я понимаю, ваша мама очень открытый и доброжелательный человек?

– Ну, мама приехала, вы понимаете, она приехала к себе домой, как хозяйка. А он тоже за время ее отсутствия привык хозяином быть.

– А мама вашего мужа тогда впервые увидела?

– Нет, почему? Она видела его и раньше. Мы с ним подружились – я еще в школе училась. Его звали Вячеслав. Он кончил юридический. А Алешу я знала с самого детства, дружила с его сестрой Таней. Но он был, на четыре года младше меня, и мы всегда им помыкали. Так что он маленьким был тогда. Ну а потом вот так получилось, что мы поженились.

[Перерыв в записи]

– Может быть впоследствии он стал бы генералом [Г.С. Габаев], но, в общем, там своя была трагедия, что он расстался со своей женой, ведь тогда же это редко было. И бабушка воспитывалась строго и очень тяжело переживала это и очень серьезно относилась к замужеству своему, очень боялась, что повторится судьба ее матери. Там история такая была, что дедушка сперва ухаживал за ее подругой, а та ему отказала. Тогда он, так сказать, стал ухаживать за бабушкой, и она тоже ему отказала. А в то время это было модно, я это всюду встречаю, что если нет – то я застрелюсь. И дедушка это сказал ей, бабушке.

– Она поверила и испугалась просто?

– Не знаю, поверила ли... Но, может быть, это и было решающим, я не знаю.

– А бабушка всю жизнь просто жила потом уже с дочерью Ольгой, да?

– С дочерью Ольгой, да. Ну, Виктор с ними жил, до того, как...

– До ареста?

– Да. Он с ними жил до того, как его арестовали.

– А в каком году поженились, ваши родители?

– В двадцать девятом, наверное, потому что я через год родилась, в 1930-м... Они познакомились там в Ташкенте. Они там просто оба были в командировке. И тетя Оля очень недовольна была папиным браком, потому что она очень хотела, чтобы он женился на ее подруге.

– Но тем не менее потом были хорошие отношения?

– Да, были хорошие отношения. Но все-таки я скажу, что стороны тети Оли я чувствовала какое-то к маме немножко вот такое, знаете, какое-то предрасположение, нерасположение, не очень... Хотя это не проявлялось никогда, она очень была и ласкова, и вежлива... ну, немножко что-то такое нерасположение, я это помню.

– Ну а бабушка как это восприняла?

– Ну я не знаю. Ну, я совсем была маленькая. Я помню, как меня носили к бабушке в гости.

– Бабушку помните?

– Бабушку помню, да. Я помню, что когда в эвакуацию нас отправляли, срочно надо было уже и одеться, и обуться. И бабушка приходила к нам, какие-то платья перешивала мне, бабушка приходила. Но она была всегда какая-то очень грустная, характер у нее был такой печальный.

– А какие отношения были с дедушкой?

– С дедушкой мы... вот вы прочтете, я там об этом пишу, что он каждый вечер приходил к нам поцеловать перед сном, говорили о том, что мы хотим увидеть во сне. Он говорил, что он хочет увидеть, и я [говорила, что хочу увидеть попугая или обезьяну...

– Бабушка, дедушка и мама – у кого было больше свободы, у кого было больше строгости?

– Ну бабушку я совсем в этом плане не помню, Ина-то помнит хорошо. Видите ли, с мамой я же проводила все дни. Да, работа была на дому, я ее все время видела, значит, замечания все шли от нее, и если что-то мне не разрешалось, то не разрешалось ею, поэтому вот в детстве я папу вот гораздо больше любила. Если это так сформулировать. Потому что папа был только по воскресеньям.

– Он с вами занимался?

– Нет, ну видите, он мне очень много рассказывал. Но он рассказывал не сказки, а то, что он сам читал. А читал он Алексея Толстого, не советского, а того... а что он рассказывал? – о вампирах, потом он мне пересказывал «Трех мушкетеров», и даже читал мне оттуда выдержки...

– Вы же маленькая совсем были, как вам вампиры-то? Вы боялись?

– Ну конечно, боялась. Он сказал... Я от него знала, что от вампиров помогает чеснок и другие предосторожности – серебряная пуля, например. И о графе Дракуле я узнала от папы. И был такой случай, что мы шли по улице, я даже помню это место на 7-й... Он что-то мне рассказывал, сзади шел человек. И он сказал папе – вы знаете, я бы на вашем месте ребенку такого возраста так не рассказывал. Вот запомнила я, хотя я тогда в первом или втором классе училась. Что там папа мне рассказывал, это я уже забыла...

– В контексте Дракулы, то, в общем, это могло быть все, что угодно.

– Да. Ну, в общем, как-то от папы я восприняла, понимаете, понятия о чести, о добропорядочности, о порядочности, о том, какими люди должны быть – вот это все папа мне объяснял. То есть это не прямо мне говорилось – знаешь, надо быть порядочным человеком, знаешь, надо... Но как-то я от него это воспринимала, от него. С мамой было на уровне быта общение, понимаете? А вот от папы это... потом мне очень импонировало в детстве, что дедушка грузин, и мне очень нравился эти рассказы.

– Какой дедушка грузин?

– Дедушка Габаев.

– А он грузин?

– Да. Он наполовину грузин, наполовину француз. Его отец был чистый грузин, мой прадед по габаевской линии – он был чистый грузин. Мне очень нравилось, что грузины – что гордые люди, что они не прощают обид и я тоже так воспитывалась, понимаете. Я считала, что надо быть гордой, считала, что обиды не прощают.

– Не прощали?

– Потом прощала, но во всяком случае, сама я была какая-то очень обидчивая. Потом это, конечно, прошло, но эта какая-то такая романтическая закваска, она осталась со мной на всю жизнь. А уже в эвакуации в Сибири, все было по-другому. Потому что, конечно, там было не до воспитанности, не до манер, потому что мы жили у одной очень доброй женщины, сотрудницы тоже этой станции, мама спала на кровати, я спала под столом. И жизнь была очень тяжелая, потому что мама лежала, значит, я должна была ухаживать за ней, в школу ходить, в Ташкенте, в общем, было трудно на самом деле. Очень большую роль сыграл в моем воспитании сыграл Константин Иванович Панголо, папин учитель.

– Он помогал вам?

– Когда мы жили в Ташкенте, он жил там же со своей женой и дочкой.

– Они вам помогали как-то, да?

– Они нам помогали. По воскресеньям меня туда приглашали обедать, потому что знали, что жить нам очень трудно, я очень это тяжело переживала, моя грузинская гордость мне это не позволяла, я считала, что меня из милости туда зовут... вот такие мысли были в голове.

– Вы переживали именно в этом смысле, а не в том смысле, что мама дома лежит голодная?

– Нет, нет-нет. Потом они всегда присылали маме что-то, пироги, еще что-то... Ну вот, а когда мы с мамой вернулись в Ленинград, Константин Иванович перевелся из Ташкента в Кишинев. И он там имел лабораторию. И мама туда ездила после войны на зарисовку сортов виноградов.

– Это уже после того, как выздоровела?

– Да. Да-да, это уже после войны было, и даже после возвращения ее из лагеря. А когда маму арестовали, Константин Иванович был в Ленинграде, если помните, я первым делом бросилась к Милорадовичам, потом мы с Иной уже пошли к нему. Да, а потом мы пошли к нему. То есть, вот это был мой ляп, вот как бы – я думала, что он что-то сделает, что-то поможет... Но он ничего сделать не мог, конечно, наоборот, он постарался поскорее уехать, потому что... я, кстати, потом в мамином деле нашла записку о том, что они посылали запрос в тамошнее КГБ о том кто он такой и что он такое. И оттуда ответ был такой, что он находится на их оперативном слежении или как-то так... так что он тоже... Да. Но дело-то было в том, что, я не знаю, конечно, знали они об этом или нет, вроде знали, что когда мама находилась там, он ей каждый месяц передавал деньги. И благодаря этому мы могли делать ей передачи, посылать посылки. Это вот такое участие...

– То есть практически всю жизнь...

– Всю жизнь он помогал нам, участвовал в нашей жизни в какой бы то ни было форме. И он воспитал во мне любовь к чтению, потому что в деревне, там уже не читали, поскольку в школу ходили, не было художественной литературы, и вот когда я к маме приехала туда в Ташкент, он мне рекомендовал – вот то прочти, вот это прочти. И я следовала его советам...

– То есть он как бы немножко пытался исполнять роль отца?

– Да. Да-да-да. Занимался вот таким духовным воспитанием, что ли... И после маминого возвращения, тоже через горком художников мама оформлялась туда на работу, в этот институт, в Кишиневе, где он работал, и мы ездили к нему. И у него замечательная была библиотека. Маме там давали комнату, а днем я приходила к нему, сидела у него в кабинете, он уходил на работу, оставлял мне чтение.

– Вы с мамой были?

– Мы с мамой, но мама ездила туда на работу, а я... Я садилась в его кабинет, там выбирала то, что хотела, и читала там Вересаева, потом Лескова там читала, еще что-то. Так что он очень большую роль в моей жизни сыграл. А потом, когда... это было еще до маминого ареста, он мне писал все время письма, в Ташкенте когда еще были, у нас была переписка...

– Она была именно у вас? Именно, не у мамы?

– Нет, и мама с ним тоже переписывалась, да. Но я больше. И у меня все его письма сохранились, я недавно их перечитала. И вот и о науке, и об искусстве он писал, но он, конечно, литературу любил больше всего. А вообще он жил в каком-то совершенно отдельном мире жил, жил своим прошлым.

– А он так и жил уже потом дальше, в Кишиневе?

– Да, заведовал там лабораторией, там он и умер. Он женат был, да, она была его сотрудницей, она стала его женой, и после его смерти она приезжала к нам, было, жила

у нас в деревне. Этот человек был мне очень близок. Я ездила потом в Кишинев на его могилу.

– А в каком году он умер?

– Он умер... сейчас я вам скажу... Это был год, когда Ася вышла замуж. Значит, это был 63-й год. Я помню, что он еще Асю поздравил, а потом вскоре пришла телеграмма, что его нет.

– И детей у него не было?

– Были. У него была дочка от первого брака. Но очень избалованная, взбалмошная, она его все время третировала и дразнила тем, что она уедет к матери, которая в Ташкенте жила, то к матери едет, то к нему, то к матери, то к нему. И вот она его так мучила долго. Потом она все-таки уехала в Ташкент.

– Я хотела спросить про маму. Когда после ареста о ней что-нибудь стало известно?

– Мне сразу сказали, куда можно обратиться. И я обратилась туда, вернее, они дали адрес туда, где передачи передавать. Но я хотела узнать, в чем ее обвиняют, а это мне никак никто не хотел говорить.

– Это на Шпалерной?

– На Шпалерной, да. Там действительно туда носили передачи... Я хотела добиться, чтобы мне сказали, за что она была арестована. Ну это там все написано, думаю что все, что я вам говорила... И меня посылали из одного места в другое, и нигде не было никаких следов. И я, конечно, была в большом испуге и недоумении.

– А где вы были? В Большой доме?

– В Большом доме, да, но там какие-то есть свои подразделения. В одно я пошла, потом в другое пошла, потом, наконец, на третий или четвертый раз мне сказали – а попробуйте сходить в военную прокуратуру. Я пошла и там, действительно, оказалось, что это дело у них. И когда я спросила – что, в чем же она обвиняется, мне очень кратко было сказано – за шпионскую деятельность. Мне показалось это уже чересчур, потому что мама, которая всегда была озабочена только тем, где бы найти работу, и думала только о том, как нас двоих поднять. Ну вот, и потом, значит, ее в течение года держали здесь...

– Вы носили передачи?

– Мы носили передачи, да, маме. Потом был промежуток...

– А что вы ей туда передавали?

– Я так точно не помню, кажется, лук, масло, конфеты...

– На что вы жили? На свои стипендии?

– Вдвоем с сестрой, с Иной, да. Сразу началась тяжелая жизнь, представляете, когда можно было жить на две стипендии – мою и Инину, конечно, мы очень скудно жили, но все-таки жили.

– И все-таки можно было какие-то передачи передавать?

– Передачи, вот, я вам говорила, что Константин Иванович Панголо, как только о мамином аресте узнал, сразу стал нам присылать каждый месяц 100 рублей.

– А можно было одну в месяц только передачу?

– Не помню точно, может быть, даже и реже. А высылать нельзя было из города, надо было ехать за город, чтобы послать эту посылку.

– А куда вы ездили?

– Я уже не помню... на электричке куда-то ехала.

– Это было, когда мама была в лагере, а сюда вы носили просто?

– Да. А здесь я носила, в окно передавала и когда я однажды прихожу и говорят – а она не числится. Я в ужасе была, потому что... я говорю – а что, а где она? Мы ничего не знаем. В общем, я опять туда – сюда, в общем, где-то все-таки в каком-то окне мне сказали, что она переведена в тюремный госпиталь. И оказывается, что у мамы было что-то, что заставило их подвергнуть ее психиатрической экспертизе, так уже это было или не так – я не знаю. Ну вот, и какое-то время... мне дали адрес этой больницы где-то в

пригороде было, или на краю города, я туда тоже ездила. И такая маленькая подробность, что я как раз сдавала экзамен, это, значит, закончилось второе полугодие, и я сдала на отлично все, и мне так хотелось, чтобы мама узнала это, что написать, я написала эту записочку, только о том, что экзамены сданы так-то – так-то, не волнуйся, у нас все в порядке. И передала этой женщине – я спросила, что можно ли передать, она говорит – ну давайте, попробуем передать. Ну, в общем, обнадежила меня. И потом я маму спросила, передали ли ей записку. И она конечно сказала, что не передавали никакой записки.

– И вообще связи никакой не было...

– Никакой. То есть связь была односторонняя, то есть только то, что принимали эту передачу. Потом, ровно через год после ареста. Или не через год, а немножко меньше, мне кажется, что меньше, не помню точно, нам сказали, что приговор состоялся и можно прийти назначить свидание.

– Это в тот момент, когда вы пошли относить передачу?

– Да, по-видимому, так – потому что иначе как? И они мне сказали, что можно повидаться. И мы с сестрой, вот, с Иной пошли туда, в Большой дом, тоже со Шпалерной, но не в эту дверь, а в какую-то другую, и я помню, что на меня произвело впечатление, что нас очень долго вели по каким-то коридорам – без конца, без конца вели. И потом какая-то небольшая такая комнатка, разделенная как в кинофильмах – не знаю, что – перегородка, значит, деревянная, а выше ее сетка. Значит, мы с этой стороны, мама с той стороны.

– А сетка частая, да?

– Да, да. Ну, там уже точно я не помню, но уж во всяком случае не то, что можно было бы дотронуться друг до друга или обняться. Ну вот, мама пришла такая радостная, такая светлая, понимаете? Я и Ина, конечно, расплакались, мы с Иной плакали, а она нет. Она сказала – все страшное позади. Все страшное позади. Теперь уже я поеду в лагерь. Вот так, о каких-то таких мелочах жизненных поговорили, во всяком случае у меня в сердце какой-то свет пролился от того, что она была в таком хорошем состоянии, что она была в хорошем настроении и сказала, что все страшное позади. Вообще, надо сказать, что мама очень не любила рассказывать об этом. Я думаю, что с них, наверное, подписку брали ...

– Ну брали, конечно.

– И она как человек дисциплинированный, по-видимому, она это исполняла, поэтому я так старалась ее особенно не спрашивать, но она и сама никогда не начинала таких разговоров. Я ездила к маме в лагерь на свидания каждый раз, когда была такая возможность. Те, кто туда на свидание приезжали... надо было всю верхнюю одежду снять, ее там где-то пропаривали, а нас прогоняли через баню. А уже в следующие разы как-то я или с кем-то поговорила или что, но сказали, что не надо было проходить через этот санпропускник. Так что в следующие разы было уже проще, в этом плане...

– А у вас были личные свидания?

– Это маленький домик, который стоял на границе зоны, и там было так – значит, одно помещение это где сидит вахтер, а второе помещение, разделенное дощатой перегородкой, даже не до потолка, по-моему, и две таких клетушки. Значит, давали свидание как бы сразу двоим, еще женщина с мужем своим была, а мы с мамой в другой части домика.

– То есть мама просто жила тогда с вами? Или она приходила?

– Нет, ночью она уходила, да, ночью она уходила.

– Приходила на день, да?

– Приходила на день, да. И потом она там вдаль из окошка показывала своих друзей, с кем она там подружилась и эта дружба потом продолжалась.

– А вы должны были оставаться в этом маленьком домике?

– Я в этом маленьком домике, да, и это была при первом моем приезде, это была очень страшная вещь... ночь, потому что этот охранник пьяный, он рвался в эту комнату

ко мне... потому что там чахлый какой-то крючок был, в общем, я с трепетом и жутью сидела в углу своей кровати, не зная, чем это кончится, уговаривала его по-хорошему, что не надо сюда входить, и зачем вам, у меня муж там дома ждет и так далее. Он пьяный там бушевал долго. Во всяком случае, эта жуткая ночь мне память о себе оставила. И при этом никого, в общем не было. Никого, никого, то есть совершенно без защиты. А потом мама мне еще сказала – ой, это, – я не помню, как она его назвала, какая-то у него фамилия такая, – он у нас хороший. Я не помню даже, рассказала я ей об этом или нет инциденте. Может быть и не рассказывала, чтобы ее не волновать.

– А там не было столовой в этом домике, маму подкармливали?

– Нет, просто то, что я привезла, то и ели.

– Это дня три продолжалось, да?

– Дня два, по-моему.

– А мама в Ерцево недолго была?

– Нет, наоборот, основную часть своего срока она пробыла там. А потом ее переслали в Литву, в Шилуте, кажется.

– Но там небольшой лагерь был?

– По-моему, небольшой, он был более либеральный какой-то, потому что там уже мы встретились в какой-то комнате за столом, уже никаких там не было...

– Вы и туда тоже приезжали, да?

– Да, туда я тоже приезжала. Мы туда приезжали... и как-то там я чувствовала, что там такого надзора строго и жесткости такой нет, потому что... подъезжали мы на платформу на какой-то телеге, телега эта, видимо, лагерная была от станции, видимо, была она лагерная, в общем, как-то там встретили меня...

– А вы с сестрой ездили?

– Нет, я ездила с мужем.

– С мужем ездили, да?

– С мужем, хорошо, что он был юрист по специальности, то есть он учился тоже, он же юридический факультет кончал, и, в общем, он там расспрашивал всякие нужные подробности для того, чтобы потом хлопотать в отношении освобождения мамы. Это было уже незадолго до смерти Сталина. Я очень помню мамин рассказ, что она сказала, что вскоре после смерти Сталина новое поколение заключенных, их называли «поздравители». То есть те, кто не смог скрыть свою радость.

– А приходили в лагерь и такие?

– Да, да-да. За это сажали тоже, присылали туда. Все-таки ее потом освободили. Я думаю, что она бы погибла просто, если бы это продолжалось. Но узнав, что она художник, ее стали использовать как художника и ей даже дали отдельную маленькую клетушку в торце барака, какое-то такое маленькое помещение. У нее своя кровать была, свой столик, и краски там, и она могла посидеть.

– А краски она откуда взяла? Выписала?

– Нет, наверное, там выдавали для работы. Так что она вот там... во-первых, она, значит, там оформляла какие-то газеты, к праздникам. И потом был способ заработка, потому что она рисовала такие открытки, там же купить нельзя было открытки, к Новому году, цветочки, пейзажи какие-то рисовала. И нам присылала, конечно, каждый раз такие открытки. Потом там было очень принято посылать своим близким какое-то шитье, вот я помню, что мама мне какую-то красивую салфеточку прислала, вернее, таких две накидки на подушку, сейчас их не делают, а раньше покрывала с накидками очень модно было, с оленями какими-то. Да, помнится, кофточку она мне вязаную шерстяную маленькую прислала, так что они старались что-то сделать для родных.

– А в Литве она уже тоже художником работала?

– Ну, в Литве вот я не помню...

– Но не на тяжелых работах?

– Это нет.

- А когда она вернулась, как тут было с пропиской вот с ее?
- По-моему с пропиской гладко все, потому что, мне кажется, что даже это была реабилитация уже тогда, вот так.
- То есть ее сразу реабилитировали, да?
- Да. Потому что мы писали уже, хлопотали. И вот это было результатом, потому что эти мамины друзья, с которыми мы общались, они все повыходили и общались с ней.
- А потом, после лагеря она работала еще?
- Да. Она работала, да, она работала еще некоторое время, и ездила, потом еще таблицы делали учебные для герценовского института, потом она ездила в Молдавию и в Крым, тогда была многолетняя работа по созданию атласа сортов винограда. И была группа художников, которые каждое лето ездили рисовать виноград. Это еще и до войны началось, потом она прервалась. И вот каждое лето они ездили. И я с ними тоже летом ездила. А до войны мы очень много поездили, потому что мы вот и под Ялтой были, и потом в Грузии мы были, под Тбилиси, в Ташкенте, благодаря этому я поехала.
- Это все было связано с мамиными работами вот такими сезонными?
- Да. Да-да-да.
- Но это были у мамы какие-то уже подработки, она договоры заключала или она где-то была оформлена?
- Договоры, нет, это она по договору, вот через этот горком... Тогда назывался он до войны горком художников, а после войны называлось художественно-оформительский комбинат.
- И все через этот комбинат?
- Да. И они там брали большой процент, а она там зарплату получала по количеству того, что она делает.
- Мама болела после лагеря? На ее состоянии здоровья это как-нибудь отразилось?
- Да наверняка, конечно, она... с ногами было очень плохо, потом, сердце побаливало, но чтобы что-то такое, знаете, что-то она стала болеть, у нее что-то такое – этого не было... и сердце, конечно, она перенесла операцию онкологическую. Но это была уже вторая операция. Нет, в общем, мама была довольно здоровая. И вот я еще хочу сказать, что она вернулась совершенно не сломленная, она была очень энергична, как и до этого.
- Не изменились ее взгляды на жизнь?
- Нет, абсолютно нет.
- И характер...
- Нет, нет-нет-нет. Она оставалась оптимисткой и очень светлым человеком.
- То есть она просто осталась собой, да?
- Да. И знаете, что еще я смогу сказать, что я считаю, что в этих обстоятельствах очень помогает вера. У нее было умение принимать то, что случилось, принимать смиренно.
- Но у нее была религиозность такая, как вот внутренняя, не обрядовая?
- Да.
- Я правильно поняла?
- Вы правильно поняли.
- То есть это вот внутреннее ощущение того, что...
- Что то, что послано, надо переносить достойно. Тоже самое, что и дедушка Габаев... Тоже вот когда у него начиналась вот эта вот карьера его, он много печатался. И потом в ссылке, что он в этих условиях продолжал что-то писать, что-то изучать, что-то... я даже не знаю, как ему литературу удавалось доставать.
- А у мамы сохранились какие-нибудь подруги по лагерю?
- Да, очень близкие. Вот такие... Наталья Федоровна Коршунова, Соболева, их две сестры было – Соболева и Коршунова. Людмила Федоровна старшая. Наталья Федоровна была в лагере и Людмила Федоровна тоже посылала ей, как мы... когда я была у мамы,

мне дали какую-то посылочку для них, и так я с ними познакомилась. Потом Наталью Федоровну освободили позже, чем маму. Она вернулась сюда, в город, они с сестрой продолжали жить и настолько мы были близки, что они даже снимали дачу, там же, где и мы, пока мама была жива, они рядом были всегда, привозили внуков. Так что это такая, знаете, дружба, очень серьезная, которая там зарождается. Потом была такая Нина Сергеевна Преображенская. Она была жена какого-то очень видного экономиста. И был и он посажен, и она. Это не исключение. Оба вернулись, я даже один раз я его видела, с когда в Москву приезжала, мама у них всегда останавливалась. А потом она много лет была одна. Очень милый человек, интеллигентный, приветливый. Потом, самая близкая, пожалуй, по духу маме была такая Ирочка, я не помню фамилию. Она москвичка тоже, и она попала за участие в какой-то религиозной организации. Причем ее арестовали в 18 лет. И они с мамой как-то там очень подружились.

– Но они были очень разные по возрасту?

– Да, очень разные. И после освобождения мама переписывалась, и бывала в Москве, навещала, и я когда бывала в Москве у них ночевала, так что это уже были такие знакомые, знаете...

– Которые на дальнейшую жизнь остались?

– Да. И ее сын к нам приезжал, и я с ним до сих пор переписываюсь.

– Она художница, да?

– Да, она художник была, она там Полиграфический кончила. И переписку мы поддерживали, и когда бывала и я, и мама в Москве, мы обязательно заезжали к ним.

– А мама ездила в Москву, да?

– Мама бывала, да, во-первых, она проездом ездила когда вот из командировок. Потом мама интересно рассказывала, что было такое поверье, что чтобы не вернуться в лагерь, что выходя, надо было ложку перебросить через забор.

– Ну да, и другие слышала... Что надо было дырку проковырять в миске.

– Ах вот как?

– Это на Колыме, фотография есть у нас... горы этих пробитых мисок.

– Как интересно...

– А вот на вас мамино заключение в лагере какое воздействие оказало? Сказалось что-нибудь?

– Меня это сломало на всю жизнь. Я этого не могу ни забыть, никогда. Мама сама это не так пережила. Она осталась сама собой, а я не смогла. И потом, конечно, меня, знаете, когда я стала узнавать, что вообще в нашей семье столько всего – ведь в детстве я как-то не осознавала, что с бабушкой вот такая вещь...

– Но к бабушке вы приезжали как раз после войны, то есть как раз еще пока мама не была арестована...

– Еще в школе, да, когда в школе была. Старшие классы школы. Тогда тоже я как-то этого не допонимала всей это трагичности...

– То есть бабушка так живет и живет, такая у него жизнь...

– Да. И там, кстати, тоже в этой Будогощи, раз, это был как раз 101-й километр, там очень такие интересные люди были интеллектуальные. Сам он не выходил, он не любил выходить из дому. То есть я считаю, что просто я другим человеком стала после маминого ареста.

[Перерыв в записи]

– А почему вы стали заниматься биологией? Откуда это?

– В старших классах школы у нас была маленькая такая группка в классе, человек пять нас было, мы очень дружили между собой, и были такие вот научные какие-то интересы, поскольку они потом все пошли в медицинский институт, а я пошла в университет. Мы ходили на лекции, мы занимались вот с этой Ирой вот, будущей женой Мюллера, мы с ней ходили во дворец пионеров, там какой-то доклад, какие-то

эксперименты по электронаркозу проводились, так что еще в школе это произошло. Хотя я не могу сказать, что в школу я биологию так чтобы очень любила.

– Было это все немножко отдельно от школьной программы?

– Да. И вот так вот сложилось. Я думаю, что отчасти и вот Константин Иванович Панголо на меня в этом повлиял, потому что он хотя и ботаник был, и папа мой тоже по ботанической линии был.

– А когда вы закончили, в каком году?

– Я закончила в 54-м.

– В 54-м. То есть это вы закончили и маму освободили...

– Маму освободили – это такой был праздник тоже...

– Она весной же приехала?

– Да, весной, она, конечно, на защиту уже не попала. Это прошло уже, так сказать...

– А куда вы сразу пошли, то есть вот там же распределение какое-то...

– После университета? А, меня оставили на кафедре.

– И так там все...

– Да, и всю жизнь я там проработала... И не мыслю себе, что я еще где-то могла бы работать – очень хороший был коллектив, яркий очень был заведующий, профессор.

– Вы занимались преподаванием?

– Да, я была преподавателем. Хотя я такой трус страшный и вот надо же, выпала такая мне роль. И каждая лекция была, каждый выход на кафедру для меня был такой ужас.

– В конце концов – студенты это не школьники, они кнопки на стул подкладывать не будут...

– Нет, и потом вообще, конечно, с интересом слушают, вот эти глаза видишь перед собой, это, знаете, как-то помогает. Вот трудный момент был, вот когдаходишь – у нас были и практические занятия и лекции, ведь лекции там уж как выйдет, а практические занятия очень важно было их себе подчинить, понимаете, я еще молоденькая совсем была, и захожу на кафедру, конечно, такая девчонка... И вот так вот все вместе как-то я умела объяснять, потому что сперва я чувствовала такое отношение – недоверие, такое какое-то. Потом, все-таки все получалось.

– А мама все время жила с вами?

– Да.

– А как с внучкой она – они дружили?

– С внучкой у них не очень получалось.

– А почему?

– Видите ли, у мамы было такое...

– Внучка была строптивая?

– такое было свойство, что мамочка моя очень любила учить. А детям это всегда не нравится. Она делала много замечаний, я помню, что и мы с Иной от этого очень страдали, так что вот...

– Замечания какого свойства?

– Ну вот что это не так, это не так, что вот я ж тебе это уже говорила, а ты опять так сделала, понимаете, вот такое вот... И я на этом опыте всегда себя сдерживала и ничего не говорю, хотя часто мне хочется сказать «я же говорила тебе» или еще что-нибудь... Видите, дочь у меня очень поздно появилась, потому что я с первым мужем мы расстались, я говорила. А потом я уже после защиты вышла замуж. И дочка родилась вот в тридцать пять лет. Это, конечно, очень поздно. И, конечно, мама очень ждала, во внучке души не чаяла и слишком уже опекала ее. Детям очень не нравится, когда их слишком опекают. Трудный характер у Аси был в детстве, она была и упрямая, и у грубая, и... Например, такая у нее особенность была – она приходила из школы, и говорила – бабушка, сегодня я обедать не буду. Такое заявление, почти ультиматум. И бабушка

сначала заставляла-заставляла, а потом говорила, что, ну хорошо, ты можешь не обедать, только пойдешь в кухню, посмотри, что там. И это было безошибочно.

[Перерыв в записи]

– Ну вот вы говорили, что тридцать пятый год, там высылки были, и кого-то высылали из знакомых.

– Просто детей как бы защищали...

– Ну вот было ощущение напряжения, страха какого-то или нет?

– Нет, у меня не было. Я не понимала, что это такое. Кто-то уезжает, вот они уезжают, они будут жить вне Ленинграда, а часть вещей они оставляют у нас.

– А вот после маминого ареста это как-то появилось? То есть вот когда маму арестовали, ну понятно же, что ни за что?

– Ну естественно...

– То есть это как бы мир вокруг рушится и что... и было такое ощущение, что это может случиться в любой момент и с тобой тоже?

– Конечно, я все время ждала.

– То есть вот это было, да?

– Я все время ждала, что меня тоже арестуют.

– Это прошло уже после смерти Сталина, уже когда мама вернулась?

– Нет, потом этого уже не было. Когда ее взяли только что, я считала, что меня из университета исключат, это первое, чего я боялась, а второе – я думала, что меня могут взять тоже.

– А почему?

– Ну как? Дочь преступника...

– То есть то, что детей берут – это было очевидно, да?

– Да, конечно. Конечно, это было очевидно. И потом вот еще мы знали, что за несколько месяцев до этого в Москве взяли вот наших родственников, Оттов. Я, вы знаете, очень боялась, что маму могут расстрелять, я же не понимала, что...

– А как это, кстати, понималось?

– Мною? Я не понимала совершенно... Я считала, что это страшное оскорбление, понимаете, что так можно вот маме, которая абсолютно...

– А как вообще вы воспринимали мамино обвинение?

– Это страшно, это очень страшно, это значит, что против страны... Это какая-то деятельность. Это было настолько, понимаете, ужасно, невозможно, и потом я понимала, что я совершенно бессильна что-нибудь... куда-то ткнуться, кому-то что-то сказать...

– Потому что это даже практически невозможно узнать, почему...

– Да, причем этот который мне говорил, он так антипатичный такой был человек, поковырялся в каких-то бумажках... – «за антисоветскую деятельность». Потом мне, знаете, было непонятно. Я ж не знала, в чем конкретно ее... мало ли что они могут там предъявить.

– То есть было уже понятно, что предъявить они могут все, что угодно?

– Вот именно, вот это сознание у меня было, что правды добиться нельзя, что могут все, что угодно.

– А вот откуда это было?

– Я не знаю...

– И вы уже больше знали про дедушку?

– Про дедушку тоже больше знала, конечно. Нет, в это время уже мы понимали, что может быть, что угодно. Хотя очень мне как-то стыдно об этом говорить, потому что я знаю, что были ситуации гораздо более тяжелые.

– А вам не приходилось скрывать то, что мама в заключении?

– Нет. Вы знаете, кто-то, я даже не помню, кто мне сказал, с кем-то я поделилась, наверное, – он сказал: пойдешь в деканат и скажи, что так... чтобы не было, что ты скрываешь. Я так и сделала. Никаких последствий...

– То есть просто вообще никаких?

– И второй раз, когда я об этом сказала, когда у нас происходило распределение, я там профессору не говорила, что у меня такая ситуация, но когда распределение начиналось, он должен был меня рекомендовать куда-то там, я пришла к нему и сказала, что у меня такая ситуация. А он сам тоже сидел в свое время, так что он, в общем, очень сочувственно отнесся и когда у меня в ветеринарном там не получилось, он взял меня на кафедру.

– А то, что не получилось с ветеринарным...

– Ну просто я туда пришла и там оказалось, что ставок нет.

[Перерыв в записи]

– Первый раз мама сидела в связи с религиозным обществом небольшим, я говорила вам?

– Нет. А когда это было?

– Это было до моего рождения еще, у них была община религиозная. У них был свой священник там... Ну, это, наверное, был 28-29-й год, она ушла из дома и они... на Серпуховской улице было у них там... они там и жили, и хозяйство у них было, и службы у них были, ну, я, конечно, это не очень хорошо знаю, но в 30-м году, уже после моего рождения, вскоре маму арестовали в связи с тем, что разгромили эту общину.

– То есть она когда вышла замуж, она из этой общины ушла?

– Да, она ушла, да. Но она все равно продолжала видеться с этими людьми, потому что они были ее друзья, там получилось так, что ее туда вовлекла ее гимназическая приятельница...

– Не помните, как ее звали?

– Вера Васильевна Бонакова. И возглавлял ее брат ее мужа, ее муж был профессором.

– То есть Бонакова – это ее девичья фамилия, да? Или это уже по мужу?

– По мужу. Вот, и еще одна девушка, из ее же класса, такая Елена Константиновна... ну, короче говоря, вот в 30-м году их всех арестовали.

– То есть вы вообще еще просто крошечной были в это время? Вы новорожденной были...

– Да. Я только что родилась, да, и маму арестовали.

– Ее арестовали без вас, то есть...

– Но я уже не знаю, как там без меня, пришли домой, арестовали...

– Нет, то есть вас же...

– А, меня не взяли. Я думаю, я была уже не грудная, наверное. Сидела она тогда в тюрьме с такой Марьей Александровной Сидоровой, очень религиозной женщиной, с которой тоже потом мы дружили и с ее семьей, и даже ее дочка младшая Асина крестная, так что у нас тюремных очень много...

– По разным поколениям, главное...

– По разным поколениям, да. И мама очень плакала тогда, в этой камере, и вот эта Марья Александровна Сидорова ей сказала, что вас выпустят, вы еще не готовы, еще не готовы принять вот это страдание. И действительно ее выпустили через там, я не знаю, несколько недель или что, а вот эта бедная Елена Константиновна – она сидела вплоть до войны и этот Бонаков, он вообще пропал.

– А что это была за община? Она была какого...

– Она была религиозная община...

– Религиозная – какого направления?

– Православная. Так что у мамы такая пестрота была, она как бы по рождению католик была, потом она была в этой православной общине, к концу жизни она опять в католический храм ходила, а похоронить себя просила по православному обряду, так что тут такая есть некоторая... Ну, она мне сказала... или это мне потом рассказали ее друзья, когда хоронили, что мама сказала, что православная вера ей ближе.

– А маму где отпевали?

– В Никольском соборе. А вот эти, большинство из тех, кто был в этой общине, они все очень долго были в ссылке. Очень долго, да. Но она со всеми из них почти поддерживала отношения. Но при мне об этом никто не упоминал.

– Не упоминалось вообще?

– Нет, не упоминалось...